К 225-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. С. ПУШКИНА

DOI 10.37386/2305-4077-2024-2-19-37

А. А. Чевтаев[1]

Российский государственный гидрометеорологический университет (Санкт-Петербург)

ОДИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ И «МИСТЕРИАЛЬНАЯ» ПОЭТИКА В СТИХОТВОРЕНИИ М. ЗЕНКЕВИЧА «РОЖДЕНИЕ ПУШКИНА»

В статье рассматривается поэтика стихотворения М. А. Зенкевича «Рождение Пушкина», раскрывающего смысловые установки авторского сознания поэта в зрелый (советский) период его творчества. Анализ стихотворения показывает, что в его структурно-семантической организации, с одной стороны, актуализируются одические традиции воспевания «великого человека» (Поэта), призванного преобразить бытие, а с другой – обнаруживает черты «мистериального» акта преодоления границ времени и перевода исторического события (биографического рождения поэта) в метафизический план утверждения вечности русского культурного самосознания. «Мистериальная» направленность зенкевичевской рецепции творческого дара А. С. Пушкина экстраполируется на событийные свершения современности. Поэтому в сознании поэта День Победы в Великой Отечественной войне оказывается днем прославления пушкинского гения, о чем свидетельствует дата создания стихотворения – 12 мая 1949 года.

Ключевые слова: М. А. Зенкевич, А. С. Пушкин, Великая Отечественная война, День Победы, лирический сюжет, «мистериальные» смыслы, поэтика оды, пушкинский миф, русская советская поэзия, художественная аксиология

A. A. Chevtaev

Russian State Hydrometeorological University (Saint-Petersburg)

ODIC TRADITION AND “MYSTERY” POETICS IN M. ZENKEVICH’S POEM “THE BIRTH OF PUSHKIN”

The article examines the poetics of M.A. Zenkevich’s poem “The Birth of Pushkin”, which reveals the semantic attitudes of the poet’s author’s consciousness in the mature (Soviet) period of his work. The analysis of the poem shows that in its structural-semantic organization, on the one hand, the odic traditions of the chanting of “the great man” (Poet),

[1] Аркадий Александрович Чевтаев – кандидат филологических наук, доцент кафедры отечественной филологии и русского языка как иностранного Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ, Санкт-Петербург), e-mail: achevtaev@yandex.ru.

designed to transform existence, are actualized, and on the other hand, it reveals the features of the “mystery” act of overcoming the boundaries of time and translating a historical event (the biographical birth of the poet) into a metaphysical plan for the affirmation of the eternity of the Russian cultural awareness. The “mystery” orientation of Zenkevich’s reception of A.S. Pushkin’s creative gift is extrapolated to the eventful achievements of modernity. Therefore, in the poet’s mind, Victory Day in the Great Patriotic War turns out to be a day of glorification of Pushkin’s genius, as evidenced by the date of creation of the poem – May 12, 1949.

Keywords: M.A. Zenkevich, A.S. Pushkin, The Great Patriotic War, Victory Day, lyrical plot, “mystery” meanings, poetics of odes, Pushkin’s myth, Russian Soviet poetry, artistic axiology

Судьба и творчество А. С. Пушкина в онтологическом самосознании русской словесности являются одновременно и предельной ценностной вершиной творческих стремлений любого поэта, и смысловым интегралом жизнестроительных стратегий, посредством которого поэтическое «я» осмысляет свое место в современности, в истории, в бытии. Представляя «осевое» явление для русской поэзии, А. С. Пушкин литературно и биографически инспирирует порождение особого мифа о поэте как носителе и выразителе нравственной, психологической, социальной и бытийной сущности русского человека. Формирование пушкинского мифа, начавшееся практически сразу после гибели поэта, постепенно приобретает черты не только эстетической парадигмы, но и национально-мировоззренческого процесса самоидентификации личности в сложных и противоречивых контекстах российской действительности. В поэзии первой половины XX века, развитие которой определяется, с одной стороны, многомерными эстетическими и мировоззренческими исканиями, а с другой – пересмотром предшествующих литературных традиций, пушкинские коды творчества становятся маркером причастности лирического субъекта к подлинным основам человеческого существования. Как показывает масштабное исследование В. В. Мусатова, пушкинская традиция получает преломление и развитие в художественных системах практически всех значительных поэтов Серебряного века [Мусатов, 2016], тем самым свидетельствуя об универсальности литературного наследия А. С. Пушкина для поэтического самоопределения последующих поколений.

Процесс абсолютизации пушкинского поэтического гения и интеграции его творческих свершений в аксиологические контексты XX столетия, инициированный в русской литературе начала века, продолжается и обретает новые смыслы в словесности послереволюционного времени. Разделившись на два потока – советский и эмигрантский, русская поэзия, при всем обострении ее эстетических и идеологических конфликтов, демонстрирует единство в верности пушкинскому началу ее бытия. В творчестве и советских поэтов (Э. Г. Багрицкого, П. Н. Васильева, Л. Н. Мартынова, П. Г. Антокольского), и поэтов-эмигрантов (Г. В. Иванова, М. И. Цветаевой, В. В. Набокова, В. Ф. Ходасевича, А. П. Ладинского) пушкинский миф русской поэзии определяет этические горизонты самоосуществления поэтического «я». При этом важно, что не только и не столько творчество А. С. Пушкина, сколько его судьба и мировоззрение ста-

новятся ценностно-смысловым мерилом и онтологическим идеалом для поэтов, помещенных в эпицентр исторических катаклизмов первой половины XX века. А. С. Пушкин и в Советской России, и в эмиграции видится той идеальной («парадигматической») личностью поэта, которая, с одной стороны, являет пример нравственной и гражданской честности, а с другой – позволяет видеть перспективу мировой гармонии в самой катастрофичности бытия.

В русской советской поэзии мифологизация пушкинских биографии и творчества обнаруживает, прежде всего, героические коннотации, позволяющие соотнести личность великого поэта с переломной эпохой в жизни страны и уяснить вечные смыслы бытия в новых условиях социального самосознания. В структуре пушкинского мифа первых советских десятилетий (1920-х–1940-х гг.) на первый план выдвигаются идеологемы жизненной стойкости и верности поэта собственному миропониманию, ведущих его к трагической гибели. Революционный пафос и кардинальная трансформация социокультурных оснований жизни человека обусловливают наделение А. С. Пушкина статусом одновременно и культурного героя – борца за свободу и равенство, и жертвы искаженного и социально разобщенного миропорядка. Как указывает У. Ю. Верина, «история дуэли и смерти Пушкина составляет часть грандиозного пушкинского мифа», представая «универсальным материалом, способным обслуживать любую идеологию или художественное направление» [Верина, 2016, с. 12]. Сакрализация гибели поэта, наблюдаемая уже в культурных рефлексиях Серебряного века, в послереволюционных социальных и художественных практиках становится нормой обращения к А. С. Пушкину как нравственному интегралу русской действительности. Роковая дуэль и трагическая смерть поэта предстают знаками эстетической и этической подлинности жизненного пути творца. Например, в стихотворениях Э. Багрицкого «О Пушкине» (1924) и П. Антокольского «Пушкин» (1926) именно обстоятельства пушкинской гибели определяют «парадигматический» характер его личности, призванной служить творческим и жизнестроительным образцом для всех русских поэтов[2]. Смерть поэта мыслится залогом истинности его жизненного и творческого самоутверждения, которое ценностно проявляется во всей последующей истории России – из XIX столетия в XX век.

Придание трагической кончине А. С. Пушкина статуса сокровенного события в истории русской культуры становится идейно-эстетической нормой в дореволюционной словесности. Как отмечает Б. М. Гаспаров, в культурных практиках русского литературного модернизма первостепенное внимание уделяется

[2] Ср.: «И Пушкин падает в голубоватый / Колючий снег. Он знает – здесь конец… / Недаром в кровь его влетел крылатый, / Безжалостный и жалящий свинец. / <…> Идут года дорогой неуклонной, / Клокочет в сердце песенный порыв… / …Цветет весна – и Пушкин отомщенный / Всё так же сладостно-вольнолюбив» [Багрицкий, 2000, с. 210–211]; «Ссылка. Слава. Любовь. И опять / В очи кинутся версты и ели. / Путь далек. Ни проснуться, ни спать – / Даже после той подлой дуэли. // <…> Не смертельна горящая рана. / Не кончается жизнь. Погоди! / Не светает. Гляди: слишком рано. / Столько дела еще впереди» [Антокольский, 1982, с. 64–65].

годовщинам именно пушкинской гибели, а не рождения поэта [Gasparov, 1992, p. 14]. Такое «мортальное» восприятие судьбы и творческого значения А. С. Пушкина, получающее развитие и явно абсолютизируемое в советской поэзии, с одной стороны, свидетельствует о предельной идеализации и романтизации пушкинской личности в условиях сотворения новой социокультурной действительности, а с другой – эксплицирует онтологическое значение пушкинского гения, гибель которого одновременно являет и катастрофизм человеческой жизни, и созидательную вечность художественного слова. Очевидно, что жизнь и смерть А. С. Пушкина в реалиях советской действительности 1920-х–1950-х годов осмысляются как семиотический идеал бытийной самоактуализации личности поэта, помещенной в эпицентр социально-политических, нравственно-философских и эмоционально-психологических смещений и преобразований эпохи.

На фоне превалирующего внимания советской литературы к финалу жизненного пути «первого» русского поэта особенно выделяется мифологизация дня рождения А. С. Пушкина как точки отсчета эстетического и этического самоопределения русской культуры. В этом отношении видится принципиально значимым индивидуально-авторское понимание пушкинского мифа, предлагаемое М. А. Зенкевичем – поэтом, творчески и биографически соединяющим Серебряный век и советскую словесность.

Зенкевичевское художественное мировидение, формирующееся и утверждающее себя в контексте акмеизма, демонстрирует поиск и осмысление истоков человеческого бытия – как в плане вселенского становления мироздания, так и на уровне исторического самополагания «я» в универсуме. В своей акмеистической практике 1910-х годов М. Зенкевич репрезентирует уникальную картину мира, в которой соединяются мистические и научные воззрения эпохи и утверждается окказиональный миф о материи – первооснове тварного развития миропорядка [Тырышкина, Чеснялис, 2017, с. 125]. Акмеистические стихотворения поэта характеризуются «особой, узнаваемой “физиологичностью” образов» [Кихней, Ламзина, 2021, с. 113], нацеленных на вскрытие биологического «темного родства» человека и природы в ее материальном проявлении. Концептуальный интерес М. Зенкевича к физическим состояниям и процессам в структуре мироздания сближает его творчество с авангардными практиками футуризма, что проявляется в нарочито экстремальной телесности мотивно-образной структуры зенкевичевских стихотворений рубежа 1910-х – 1920-х годов. Однако при этом М. Зенкевич не становится авангардистом и в поэтической практике советского периода, продолжавшейся до 1970-х годов, в целом придерживается изначальных акмеистических принципов миромоделирования, соотнося их с символистскими, футуристическими и соцреалистическими художественными стратегиями.

Несмотря на очевидную самобытность поэзии М. Зенкевича, его творчество все еще остается малоизученным. Большинство исследований зенкевичевской поэтики, появившихся в последние годы, посвящено осмыслению особенностей стихотворений поэта, созданных в акмеистический и авангардный периоды его

творческого пути. Завороженность лирического субъекта материей и ее развертыванием в бытии, которая определяет мирообраз и сюжетику в акмеистической поэзии М. Зенкевича, обыкновенно помещается в центр литературоведческих рассмотрений его поэтического мира, следствием чего оказывается редукция внимания к зрелому и позднему этапам творческого пути поэта. Поэзия М. Зенкевича 1930-х–1970-х годов все еще остается terra incognita в истории русской советской литературы, однако именно в этот период зенкевичевское поэтическое самосознание обнаруживает рефлексивную глубину постижения бытийных связей прошлого и настоящего с их проекцией в будущее. Мифопоэтические стратегии художественного мировидения, сформировавшиеся в акмеистический период и изначально нацеленные на космически всеобъемлющее описание бытия, в стихотворениях М. Зенкевича советского периода определяют постижение поэтом сущности человеческого «я» в точке соприкосновения исторического, современного и грядущего измерений миропорядка. Зенкевичевское видение человека оказывается одновременно и предельно историчным, и мифопоэтически «мистериальным». В реалиях советской жизни и в трагических событиях эпохи поэт стремится постичь вечность, соединяющую разные временные планы существования мира и обусловливающую экзистенциальный «оптимизм» человеческой жизни.

В зенкевичевском сознании именно личность художника-творца предстает средоточием эмоциональных переживаний и бытийных интенций, призванных связать воедино эпохальные противоречия в истории и современности. В 1920-е–1970-е годы в стихотворениях М. Зенкевича представления об этической ответственности поэта и его онтологической роли в миропорядке, как показывает Н. А. Рогачева, воплощаются посредством «развертывания лирических диалогов с современниками» [Рогачева, 2021, с. 356]. Напряженный диалог М. Зенкевича с собратьями по поэтическому «цеху» – В. Маяковским, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштамом, В. И. Нарбутом – закономерно приводит поэта к постижению «парадигматического» основания русской словесности, то есть – к уяснению литературного и жизненного значения личности А. С. Пушкина.

Пушкинское начало русской поэзии является определяющим в творческих стратегиях акмеистов и задает ценностно-смысловые ориентиры акмеистического художественного самосознания. Это особенно четко эксплицировано в поэтической самоидентификации А. Ахматовой и О. Мандельштама, для которых пушкинская традиция и пушкинская судьба становятся эталоном личного полагания «я» в универсуме. Ахматовская пушкиниана, включающая в себя не только реминисцентные ряды, но и глубокое исследовательское проникновение в мир А. С. Пушкина, и мандельштамовская творческая парадигма, в которой пушкинские коды предстают основой культурно-эстетического этоса, безусловно, оказывают влияние на абсолютизацию пушкинского гения в поэтическом сознании М. Зенкевича. Однако при этом в зенкевической рецепции абсолютизация пушкинского гения обнаруживает окказиональные смыслы, сопряженные с пониманием сущности свершений современной эпохи в их онтологической явленности.

Таким индивидуально-авторским видением бытийной ценности и социокультурной универсальности пушкинского феномена предстает стихотворение М. Зенкевича «Рождение Пушкина», написанное 12-го мая 1949 года. Оно репрезентирует зенкевичевскую версию пушкинского мифа, которая соединяет видение сверхисторического значения личности «первого» русского поэта и переживание недавно одержанной советским народом победы над врагом в Великой Отечественной войне. М. Зенкевич стремится представить героические свершения 1941-го–1945-го годов как события онтологического торжества культуры, осуществленного в свете пушкинского гения.

Мы обращаемся к рассмотрению поэтики стихотворения «Рождение Пушкина» в аспектах реализации одической жанровой традиции и репрезентации своеобразного «мистериального» акта празднования для появления на свет великого русского поэта. Применяемые нами структурно-семиотический и мифопоэтический методы изучения художественного текста позволяют уяснить художественную логику экспликации пушкинского мифа в позднем творчестве М. Зенкевича и очертить контуры его литературной позиции в советскую эпоху. Обращение поэта в послевоенные годы к феномену А. С. Пушкина как бытийному абсолюту видится, с одной стороны, контекстуально обусловленным и закономерным творческим шагом, а с другой – индивидуально-авторским опытом переосмысления изначальных акмеистических представлений, в которых миф и мифопоэтика являются ключевыми параметрами смыслообразования.

В стихотворении «Рождение Пушкина» в центр лирической рефлексии помещается событие появления на свет русского «парадигматического» поэта. Заглавие текста, эксплицирующее тему субъектного высказывания, определяет событийно-смысловой план развертывания лирического сюжета – осмысление историко-биографической точки начала пушкинской судьбы, что резко выделяет зенкевичевскую версию пушкинского мифа в общем контексте русской поэтической пушкинианы[3]. Для М. Зенкевича оказывается важным показать момент пушкинского вхождения в земную жизнь в ее тварной буквальности и узреть в рождении младенца мифопоэтический интеграл русской культуры. Поэтому в стихотворении пушкинский миф предстает обращенным не столько к сознательному (интеллектуально-творческому), сколько к бессознательному (провиденциальному) аспекту появления русского гения в эмпирических координатах земного бытия. В этом отношении примечательно, что имя А. С. Пушкина представлено только в заглавии, в самом тексте же поэт репрезентируется посредством «обезличенных» субститутов («он», «дитя», «ребенок»), которые и призваны выделить

[3] В ценностно-смысловых исканиях большинства поэтов первой половины XX века А.С. Пушкин предстает или зрелой состоявшейся личностью, или юношей, приближающимся к гениальным творческим прозрениям, как, например, в известном стихотворении А. Ахматовой «Смуглый отрок бродил по аллеям…» (1911) (ср.: «Смуглый отрок бродил по аллеям, / У озерных грустил берегов, / И столетие мы лелеем / Еле слышный шелест шагов» [Ахматова, 1998, с. 77]).

его грядущую личность в качестве «парадигматического» начала русской культурной идентичности.

В первой строфе стихотворения посредством риторической фигуры отрицания лирический субъект эксплицирует возможный, но не осуществленный акт общественного и государственного торжества по случаю явления в мир великого поэта:

Не загремел салют орудий,
Не загудел трезвон с утра.
До хрипа надрывая груди,
Не грянуло в рядах “ура”
[Зенкевич, 1994, с. 301].

В этой инициальной точке сюжетного развертывания текста актуализируются знаки ритуальных почестей, воздаваемых героическим личностям, и праздничных ликований по случаю великих свершений в жизни государства и общества. Пушечный салют и звон церковных колоколов – характерные приметы государственных торжеств в Российской империи на рубеже XVIII–XIX веков, посредством чего маркируется социокультурная значимость отмечаемого события. При этом отметим, что в семантике знаков «салют орудий» и солдатское «ура» имплицитно проступают значения иного (современного) торжества, аксиологически первостепенного для зенкевичевского лирического субъекта – празднования Дня Победы, на что указывает дата написания стихотворения. Этот празднично-военный контекст рождения А. С. Пушкина, явленный в отрицательном регистре неосуществленности, проспективно намечает телеологию постижения пушкинского гения как сверхисторического явления и его связей с современностью.

Рождение Пушкина совпало с рождением внучки Павла I – так что реально в Москве стоял гул колоколов в день рождения величайшего русского поэта.[4]

Явленное общественно-государственное неведение сущности того, кто явился в мир, во второй строфе проецируется на литературно-эстетические реалии конца XVIII века. Лирический субъект показывает, что и среди допушкинских литераторов поворотное событие русской культуры и русской истории – рождение подлинного поэта – не отзывается осознанием кардинального онтологического свершения: «И ни один поэт народу, / Растроган радостью до слез, / На день его рожденья оду / Торжественно не преподнес» [Зенкевич,

[4] Александр Сергеевич Пушкин родился 26 мая 1799 года в Москве в дворянской помещичьей семье (отец его был майор в отставке) в день праздника Вознесения. В тот же день у императора Павла в Санкт-Петербурге родилась внучка, в честь которой во всех церквах шли молебны и гудели колокола. Так, по случайному совпадению событий день рождения русского гения был ознаменован всеобщим народным ликованием. Символично и место рождения поэта – Москва – самое сердце русской жизни, России.

1994, с. 301]. И общественно-государственное, и поэтическое «игнорирование» современниками рождения А. С. Пушкина обнаруживает амбивалентный смысл: с одной стороны, непроясненность судьбы и значения человека в момент его появления на свет является жизненной нормой, с другой – отсутствие интуитивного ощущения вхождения в мир национально-культурного абсолюта маркирует косность эпохи. При этом акцентируемое в стихотворении отсутствие торжеств по случаю рождения русского гения не превращается в инвективу; скорее, оно эксплицирует «человеческую, слишком человеческую» историческую слепоту. При этом М. Зенкевич, не чуждый мистицизма с 1910-х годов, стремится показать сакральное значение рождения А. С. Пушкина – как человека и как поэта. Поэтому в его стихотворении на первый план выдвигается одически-мистериальное видение данного события.

Торжественная ода как предельно высокий жанр русской словесности XVIII века эксплицируется в самом тексте («На день его рожденья оду / Торжественно не преподнес»). В поэтической практике классицизма одним из канонических «случаев», инспирировавших создание одического стихотворения, является рождение (или празднование дня рождения) монарха[5]. Соответственно, отмечая отсутствие одических подношений миру по случаю рождения А. С. Пушкина, лирический субъект свидетельствует о подлинной антропологической и творческой «царственности» пушкинского гения, не распознанной современниками в момент его появления на свет. Отметим, что строка «И ни один поэт народу» ассоциативно сопрягается с известной пушкинской самоаттестацией 1836 года: «И долго буду тем любезен я народу, / Что чувства добрые я лирой пробуждал» [Пушкин, 1959, с. 460]. В свою очередь, зрелое понимание А. С. Пушкиным избраннического удела поэта, наделяющего его статусом подлинного «царя» – вершителя творческих процессов в микрокосме и макрокосме[6], в сознании М. Зенкевича экстраполируется на пушкинское бытие как таковое. Поэтому Пушкин-младенец уже являет собой «царственность» русской культуры и заслуживает одического прославления.

Обозначенные в начале стихотворения параметры одического высказывания далее преобразуются в воспевание реалий и смыслов рождения великого поэта как историософского становления русской идентичности. В третьей строфе лирическое высказывание переводится в нарративный регистр и репрезентирует природный отклик на появление А. С. Пушкина в земном мире:

[5] Ср., например: «Ода в торжественный праздник высокого рождения Иоанна Третиего 1741 года августа 12 дня» и «Ода на рождение великого князя Павла Петровича сентября 20 1754 года» М.В. Ломоносова, «Ода государыне императрице Елисавете Перьвой на день ея рождения 1755 года декабря 18 дня» А.П. Сумарокова, «Ода на день высочайшего рождения ее императорского величества, 1763 года» М.М. Хераскова, «На рождение в Севере порфирородного отрока» (1779) Г.Р. Державина.

[6] Ср.: «Ты царь: живи один. Дорогою свободной / Иди, куда влечет тебя свободный ум, / Усовершенствуя плоды любимых дум, / Не требуя наград за подвиг благородный» («Поэту» (1830)) [Пушкин, 1959, с. 295].

Лишь голуби с покатой крыши,
Шестом подтряхнуты, взвились
И стаей над Кремлем все выше
Взлетали в голубую высь
[Зенкевич, 1994, с. 301].

То, что недоступно человеческому сознанию, открывается миру природы, который в концепции М. Зенкевича отчетливее, нежели человек, ощущает глубинные ритмы бытия. Уничижительная частица «лишь» в этой строфе является знаком укора государственному социуму, не способному распознать в рождении младенца «осевое» явление миропорядка, тогда как птицы откликаются на это событие мистическим жестом воспарения в небеса. Здесь соединяются небесный «верх» и земной «низ» в их грядущем историческом значении. Именно «голуби» своим полетом знаменуют рождение А. С. Пушкина как событие онтологического порядка. Как известно, многомерная символика данного «орнитологического» знака складывается прежде всего из таких значений, как «дух жизни, душа, переход от одного стояния к другому, дух света, непорочность <…>, невинность, нежность и покой» [Купер, 1995, с. 58]. Соответственно, «голубиное» воспарение «в голубую высь» маркирует подлинную духовную чистоту родившегося младенца-поэта. Как показывает дальнейшее развертывание лирического сюжета, эта чистота – не «tabula rasa» просветительски-позитивистского или материалистически-марксистского миропонимания, а явление подлинного взгляда на человеческое бытие, в котором неизбывно присутствуют онтологические противоречия, и сознание своей судьбы как судьбы человечества. При этом восхождение «голубей» в небесные сферы актуализирует мифопоэтические смыслы «полета», соотносимого «с космосом и светом», а также символизирующего «мысль и воображение» [Кирло, 2010, с. 340]. В данном случае такой ценностно-смысловой «космизм» оказывается предельно важным, так как для М. Зенкевича пушкинский гений связан прежде всего с концепцией мировой гармонии и воспаряющей над миром творческой мыслью.

Экспликация «голубиного» полета по случаю рождения А. С. Пушкина, продуцирующая идеологему небесного парения, соотносится с одической практикой русского классицизма. Во-первых, одическими коннотациями обладает сам процесс восхождения «в голубую высь» «голубей» (своеобразных представителей лирического субъекта в повествуемой реальности). Классицистическому инварианту оды присущ «экстатический “приступ”, героический прорыв в “верхний мир”» [Тюпа, 2013, с. 124]. Аналогом такого одического прорыва (порыва) к бытийным высотам мира и оказывается «голубиное» воспарение, намечающее вертикальное измерение универсума. Провозглашая явление в мир поэтического гения, «голуби» онтологически маркируют его причастность высшим пределам мироздания. Во-вторых, «птичий» полет соотносим с пространственно-символической координатой русской государственности – с Кремлем, над которым осуществляется восхождение птиц в небесное бытие. Этот топонимический маркер также соотносим с одическим мирообразом. Лирическая перспектива мировидения в классицистическом одическом высказывании орга-

низована таким образом, что «мысленному взору поэта открывается весь мир в его настоящем, прошлом и будущем, во всей огромности и безбрежности», что «определяет пространство изображенного в оде мира: моря, горы, полюса, части света, огромная Россия – все <…> дано в едином фокусе его мысленного зрения» [Алексеева, 2005, с. 192]. Этот тезис очевидно применим к поэтике М. Зенкевича, в которой Кремль предстает средоточием сущности русского самосознания и вбирает в себя всю пространственную протяженность России. В отличие от геопоэтических построений классицизма, советское восприятие пространства в реалиях конца 1940-х годов является вполне отчетливым и конкретным, и потому М. Зенкевич одически «легко» суммирует его в образе духовно-нравственной и социокультурной цитадели русской истории – Кремля.

Исторический и метафизический пафос репрезентации рождения А. С. Пушкина утверждается в дальнейшем развертывании лирического нарратива, в котором субъект-повествователь одновременно конкретизирует реалии пушкинского явления на свет:

Да две соседние церквушки,
Взлетевших голубей крестя,
Болтнули звоном, как старушки,
О том, что родилось дитя.

Возы крестьянские со скрипом
Несли поклон от деревень,
Еще не льнули пчелы к липам,
А в садике цвела сирень.

Старинный деревянный флигель
Раскинул по двору крыло, –
Его бессмертье в этом миге
Лучами в окнах расцвело
[Зенкевич, 1994, с. 301].

В знаковой системе стихотворения на первый план выдвигаются реалии повседневного мира, в котором рождается «дитя». Хронотоп, соотносимый с фактом рождения поэта в Немецкой слободе Москвы, здесь складывается из пространственно-пейзажных образов природной и простонародной жизни России. «Соседние церквушки» и их «звон», «крестьянские возы», «сирень», «старинный деревянный флигель» совокупно свидетельствуют об ощущении «низовой» российской жизнью бытийного смысла появившегося на свет младенца. Именно русская природа и русский народ интуитивно сознают масштаб личности А. С. Пушкина в момент его рождения и «несут поклон» будущему «первому» поэту. Противопоставление провиденциальной глубины чувств «простой» России и онтологическая слепота ее государственно-аристократической системы, согласуясь с советскими представлениями о социальных противоречиях российской истории, в стихотворении М. Зенкевича оказываются направлен-

ными на постулирование пушкинского гения в качестве воплощения народного самосознания.

Изображение сосредоточенности природно-крестьянского мира на событии рождения поэта обнаруживает «мистериальную» направленность лирического повествования. В ценностно-смысловой организации мистерии как ритуально-онтологического действа «мир природы воспринимается как своеобразный канал связи, как посредник, благодаря которому человек поддерживает или обретает чувство живой причастности к “мирам иным”, “нечеловеческим”, не ограниченным рамками земного эмпирического познания и опыта» [Ибатуллина, 2020, с. 10]. В стихотворении М. Зенкевича состояние природы в момент явления Пушкина-младенца задает логику «мистериального» соотношения исторического и вечного и наделяет событие рождения поэта космогоническим статусом. Лирический нарратив о появлении на свет «парадигматического» основания русской культуры именно в силу концептуальной абсолютности А. С. Пушкина превращается в «мистериальное» переживание лирическим субъектом бытийного смысла «точки отсчета» – телесно-физического «вочеловечивания» духовно-нравственной сущности России.

Осознание лирическим субъектом «расцветающего бессмертья» только что родившегося поэта далее продуцирует возврат к одическим контекстам репрезентации пушкинского рождения:

Ребенок вдруг заплакал звонко,
Счастливая не только мать,
Но и Россия вся – ребенка
Хотела на руках поднять
[Зенкевич, 1994, с. 302].

«Плач ребенка» здесь является знаком не только и не столько младенческого провозглашения собственного земного бытия, сколько универсальным прозрением единения своей судьбы с трагичными перипетиями российской истории в ее прошлом, настоящем и будущем. Пушкин-младенец предстает носителем и выразителем тех эпических смыслов бытия России, которые раскрывают ее историческое самоопределение. При этом важно, что московский хронотоп рождения поэта в восприятии зенкевичевского субъекта является одическим хронотопом, соотносящим «единичное событие с универсальным хронотопом мифа, эпического прошлого и, в пределе, с планом вечности» [Магомедова, 2011, с. 98]. Актуализация традиций русской классической оды проявляется в представлении онтологического всеединства русской реальности в свете земного явления А. С. Пушкина: «Россия вся» жаждет возвеличить явившегося гения, творческие прозрения которого еще не раскрыты, но провиденциально ощущаемы.

Здесь смыкаются одические и мистериальные смыслы стихотворения М. Зенкевича. Поэт XX столетия создает оду рождению русскому поэтическо-

му гению, которую не могли создать стихотворцы конца XVIII – начала XIX веков. Одическое возвеличивание события пушкинского появления на свет в зенкевичевском сознании явно ритуализируется, представая «мистериальным» постижением временного в вечном. Как показывает Т. В. Зверева, русская классицистическая ода демонстрирует явно ритуальный характер поэтики и глубинные связи с архаическими магическими практиками, в которых слово является заклинательным действием. Одическое стихотворение в словесности XVIII века, с одной стороны, свидетельствует «о развитии государственной магии, призванной определить структуру зарождающейся империи» [Зверева, 2007, с. 30], а с другой – репрезентирует космогонические процессы, так как «основное предназначение оды – сотворение мира из “вечности и неизмеримости”» [Зверева, 2007, с. 34]. В этом отношении одическое воспевание рождения А. С. Пушкина предстает хвалебной «мистерией» сотворения мира на основе духовно-нравственного поворота в историческом развитии России. Пушкинское «бессмертье» в зенкевичевском поэтическом сознании оказывается одновременно знаком и личностно-исторического самоутверждения, и онтологической универсальности творческого познания путей развития России и человечества в целом.

Лирический субъект М. Зенкевича наделяет Пушкина-младенца способностью провиденциально постигать перспективы собственного и общечеловеческого бытия:

А он чрез годы лихолетья,
Как бы провидя свой удел,
Далеко в новое столетье
Глазами детскими глядел
[Зенкевич, 1994, с. 302].

Предвидение ребенком своего удела обозначает прозрение и личной земной судьбы с ее трагичным финалом, и исключительного места в духовно-нравственной перспективе будущего развития России. Так, в стихотворении М. Зенкевича «Пушкин» (1924) русский поэтический гений также наделяется пророческим даром, что актуализирует пушкинскую мифологему поэта-пророка: «Все он знал, полубог и повеса, / Как отведавший яду Моцарт, / И под выстрел бретерский Дантеса, / Улыбаясь, он шел до конца» [Зенкевич, 1994, с. 173]. Однако если в 1920-е годы в зенкевичевском восприятии А. С. Пушкин предстает зрелым состоявшимся творцом, провиденциальный взгляд которого вырастает из его литературной и гражданской позиции, то в рассматриваемом тексте М. Зенкевич усматривает пророческую ипостась поэта в только что родившемся ребенке. Соответственно, способность предвидеть грядущее в младенчестве указывает на мистическую природу пушкинского рождения, которое

знаменует проступание вечности в исторической конкретике эпохи[7].

При этом «годы лихолетья», сквозь которые ребенок-поэт всматривается в грядущий XX век, обозначая в целом сложный исторический путь России, в сознании зенкевичевского лирического субъекта соотносятся прежде всего с событиями Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Взгляд Пушкина-младенца, проницающий толщу времени, пророчески свидетельствует о преодолении военных испытаний и о торжестве жизни над смертью[8]. Поэтому далее в развертывании провиденциально-мистического рождения А. С. Пушкина эксплицируется неизбывность жизненного начала в историческом бытии России: «Тот день в глаза живущим глянул / Младенческою синевой / И солнцем золотисто канул / В поля ржаные под Москвой» [Зенкевич, 1994, с. 302]. Младенец-поэт здесь предстает носителем подлинных природных сил, которые мифопоэтически наделяют его «я» сакральным статусом ценностно-смысловой «оси», вокруг которой осуществляется движение прошлого, настоящего и будущего. Художественные знаки «солнце» и «золото», символика которых связана с воплощением «высшей космической силы», «славы», «величия», «царственности», «совершенства» и «равновесия» [Купер, 1995, с. 114, 310], соединяясь на синтагматической оси текста с образом Пушкина-ребенка, указывают на солярную сущность его рождения. Так как в художественном мире М. Зенкевича «солнце» и «золото» являются константными маркерами духовно-материального единства миропорядка, день появления на свет русского поэтического гения обретает космогонический смысл.

Как известно, «космогонический миф, как и миф о началах, рассказывает о единичных событиях, которые в ритуале повторяются, но сами по себе являются неповторимыми», и поэтому «ритуальное “повторение” имеет своей целью обновление» [Евзлин, 1993, с. 168]. В зенкевичевском стихотворении мифопоэтически реконструируемое событие рождения великого поэта, с одной стороны, мыслится своеобразной космогонией – сотворением подлинной русской культуры, а с другой – предстает «мистериальным» обновлением ценностных смыслов пушкинского места в исторической и метафизической реальности России. А. С. Пушкин, являясь живым символом движения русской жизни от хаоса к космосу, осмысляется в качестве источника стойкости и героизма советского народа в борьбе с врагом в годы Великой Отечественной войны. Очевидно, что в семантике пространственного знака «поля ржаные под Москвой»,

[7] По-видимому, здесь актуализируется сформировавшееся в Серебряном веке видение А.С. Пушкина как воплощения и прошлого русской культуры, и ее будущего [Paperno, 1992, p. 21]. Поэт своим появлением на свет призван обеспечить единство русской истории в ее движении из прошлого через настоящее в грядущее.

[8] Отметим, что в военной лирике М. Зенкевича борьба с немецко-фашистскими захватчиками раскрывается посредством мифологизированных образов русской природы, утверждающих «вечное возвращение» витальных основ бытия из мортального мира (ср., например, стихотворения «Волжская» (1942), «Фронтовая кукушка» (1942), «Неотразимая весна» (1942), «Дуб» (1943), «Три артиллериста» (1944)).

обозначающего единство солярной сущности младенца-поэта и природно-антропологического бытия России, имплицитно присутствует значение тяжелых боев за Москву 1941 года: «рожь», символизируя извечность жизненных сил, напоминает о павших солдатах, отдавших свои жизни за ржаное цветение отмеченных пушкинским взглядом подмосковных полей. В мифопоэтическом сознании зенкевичевского лирического субъекта самоотверженность и жертвенность русских людей в годы войны определяется прежде всего личностью А. С. Пушкина, преображающей бытие и свидетельствующей о присутствии вечности в историческом времени.

В финальной строфе стихотворения одические коннотации и «мистериальные» смыслы репрезентации пушкинского рождения переводятся в план современности, в котором великий русский поэт предстает средоточием жизненного торжества над невзгодами, страданиями и смертью:

А мы победно поднимаем,
Как всех народов торжество,
Над каждым вновь зацветшим маем
Тот день рождения его!
[Зенкевич, 1994, с. 302]

Эксплицируя свою позицию в тексте в качестве лирического «мы», субъект-повествователь М. Зенкевича, во-первых, индексирует социокультурное единение народа в свете пушкинских прозрений исторической судьбы России, а во-вторых, свидетельствует о всеобщности признания жизни и творчества А. С. Пушкина как бытийного интеграла. Жанровые традиции классицистической оды, проявляющиеся в такой субъектной автопрезентации, раскрываются в словесном знаке «торжество», посредством которого героический пафос осмысления пушкинского рождения обретает свое художественное завершение. Семантика «победы», определяющая смысловое измерение явления русского поэта на свет, соотносится с восприятием А. С. Пушкина в военное время. В годы Великой Отечественной войны «имя Пушкина <…> явилось светочем, помогавшим нашим людям бороться», и «сама логика истории, ответственность момента приводили художников к пониманию подлинного значения и ценности классического наследия прошлого» [Стенник, 1978, с. 98]. В советской поэзии, осмыслявшей события войны и жертвенный подвиг народа, А. С. Пушкин и пушкинские реалии русской культуры являются характерными аксиологическими ориентирами движения к одолению врага и победному торжеству добра над злом. В таких стихотворениях, как «Пушкин жив» (1943) В. М. Инбер, «Возвращение» (1944) О. Ф. Берггольц, «После марша и ночной атаки…» (1945) С. П. Гудзенко, «Под Пушкином был выброшен десант…» (1949) М. А. Дудина, именно русский «парадигматический» поэт предстает вдохновителем героизма советских солдат, которые сражаются с немецким нацизмом под сенью пушкинского гения. Тот пророческий взгляд младенца, который репрезентирует в своем стихотворении М. Зенкевич, соответственно, оказывается взглядом, определяю-

щим победные свершения народа в исторической реальности 1940-х годов.

При этом М. Зенкевич переводит пушкинские смыслы победы над нацизмом в универсальный общечеловеческий план витального превозмогания смерти. «Всех народов торжество», которое лирический субъект одически декларирует как победное свершение в борьбе за жизнь не только советского народа, но и народов других государств, явно соотносится с пониманием мирового значения пушкинского гения Ф. М. Достоевским. В известной речи писателя, произнесенной 8-го (20-го) июня 1880 года по случаю открытия московского памятника А. С. Пушкину, провозглашается всемирный смысл пушкинского творчества и утверждается его ценностный абсолют для русской и мировой культуры: «<…> по крайней мере, мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения. Ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей, как родные. В искусстве, по крайней мере, в художественном творчестве, он проявил эту всемирность стремления русского духа неоспоримо» [Достоевский, 1984, с. 148]. Это суждение Ф. М. Достоевского, определяющее онтологический смысл рождения поэта, интегрируется зенкевичевским лирическим субъектом в контекст торжественного признания пушкинского гения как основы победы советского народа над нацизмом, света над тьмой, космоса над хаосом. «Всечеловечность» А. С. Пушкина как раз и определяет его младенчески-пророческое предвидение торжества жизни в ее исторической и метафизической перспективе.

В художественном сознании М. Зенкевича происходит нарочитое смещение дат: июньский день рождения А. С. Пушкина сдвигается на май. Конечно, по дореволюционному календарю пушкинское рождение приходится не на 6-е июня, а на 26-е мая 1999 года, однако «каждый вновь зацветший май» очевидно соотносим с праздником 9-го мая – Днем Победы, который для зенкевичевского субъектного «мы» видится ценностно-смысловым абсолютом. Пушкинские прозрения победных свершений России («чрез годы лихолетья») концентрируются в моменте празднования освобождения народов от нацизма. Поэтому в поэтическом сознании М. Зенкевича подлинным днем рождения А. С. Пушкина оказывается День Победы в Великой Отечественной войне. Именно в этом сдвиге и совмещении исторических дат обнаруживается «мистериальная» сущность репрезентации и осмысления пушкинского явления на свет: празднование Дня Победы предстает ритуально-мифопоэтическим возвеличиванием «парадигматического» поэта, в пророческой сущности которого вскрываются новые космогонические смыслы. Метафизическое и историческое участие А. С. Пушкина в победном торжестве над немецким нацизмом являет подлинное обновление бытия как акт новой социокультурной и онтологической космогонии. Поэтому одическая реконструкция рождения поэта в зенкевичевском стихотворении предстает своеобразной поэтической «мистерией» – ритуальным переживанием младенческих пророчеств поэтического гения. При этом соотнесенность имени Пушкина с Днем Победы выявляется на уровне «рамы» поэтического текста: заглавие стихотворения и дата его написания (12-е мая 1949 г.) определяют

глубинный «мистериальный» смысл зенкевичевской рецепции дня пушкинского рождения. Каждый «майский» День Победы сакрализуется как День Пушкина в историческом и онтологическом единстве празднования торжества жизни над смертью.

Итак, поэтика стихотворения М. Зенкевича «Рождение Пушкина» свидетельствует о своеобразии понимания и утверждения пушкинского мифа в творчестве поэта 1940-х годов. Специфика мифологизации пушкинского начала русской культуры в данном произведении определяется, прежде всего, обращением М. Зенкевича к событию рождения великого поэта, которое осмысляется в качестве «осевой» точки в историческом развитии России. В зенкевичевском тексте лирическое повествование о явлении в земном мире Пушкина-младенца, с одной стороны, актуализирует одические традиции воспевания «великого человека», призванного преобразить бытие, а с другой – обнаруживает черты «мистериального» акта преодоления границ времени и перевода исторического события (биографического рождения поэта) в метафизический план утверждения вечности русского культурного самосознания. Такая «мистериальная» направленность зенкевичевской рецепции творческого дара А. С. Пушкина экстраполируется на событийные свершения современности. Поэтому в сознании поэта День Победы в Великой Отечественной войне оказывается днем прославления пушкинского гения, о чем свидетельствует дата создания стихотворения. Для М. Зенкевича пушкинский день рождения концептуально перемещается в дни «вновь зацветшего мая», и потому появление на свет А. С. Пушкина предстает в качестве мифопоэтического интеграла русской культуры, истории и современности, посредством которого и ради которого была одержана победа над немецким нацизмом. Соответственно, лирическая репрезентация события рождения великого русского поэта в художественном самосознании М. Зенкевича осмысляется как историософская «мистерия» онтологического соединения прошлого и настоящего в их жизненной полноте.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева, Н. Ю. Русская ода: Развитие одической формы в XVII–XVIII веках / Н. Ю. Алексеева. – Санкт-Петербург: Наука, 2005. – 369 с.

2. Антокольский, П. Г. Стихотворения и поэмы / П. Г. Антокольский. – Ленинград: Советский писатель, 1982. – 283 с.

3. Ахматова, А. А. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. Стихотворения. 1904–1941 / А. А. Ахматова. – Москва: Эллис Лак, 1998. – 968 с.

4. Багрицкий, Э. Г. Стихотворения и поэмы / Э. Г. Багрицкий. – Санкт-Петербург: Академический проект, 2000. – 304 с.

5. Верина, У. Ю. Дуэль и смерть Пушкина в русской поэзии XX в. / У. Ю. Верина // Филологический класс. – 2016. – № 4 (46). – С. 12–20.

6. Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 26 / Ф. М. Достоевский. – Ленинград: Наука, 1984. – 519 с.

7. Евзлин, М. С. Космогония и ритуал / М. С. Евзлин. – Москва: Радикс, 1993. – 344 с.

8. Зверева, Т. В. Взаимодействие слова и пространства в русской литературе второй половины XVIII века / Т. В. Зверева. – Ижевск: УдГУ, 2007. – 328 с.

9. Зенкевич, М. А. Сказочная эра: Стихотворения. Повесть. Беллетристические мемуары / М. А. Зенкевич. – Москва: Школа-пресс, 1994. – 688 с.

10. Ибатуллина, Г. М. Мистериальные миры в русской литературе XIX–XX веков / Г. М. Ибатуллина. – Москва: Директ-Медиа, 2020. – 98 с.

11. Кирло, Х. Словарь символов. 1000 статей о важнейших понятиях религии, литературы, архитектуры, истории / Х. Кирло. – Москва: Центрполиграф, 2010. – 525 с.

12. Кихней, Л. Г. Специфика «рамочного текста» в книгах М. А. Зенкевича «Дикая порфира» и «Под мясной багряницей» / Л. Г. Кихней, А. В. Ламзина // Филологический класс. – 2021. – Т. 26. – № 3. – С. 112–124.

13. Купер, Дж. Энциклопедия символов / Дж. Купер. – Москва: «Золотой век», 1995. – 402 с.

14. Магомедова, Д. М. Ода / Д. М. Магомедова // Теория литературных жанров / Под. ред. Н. Д. Тамарченко. – Москва: «Академия», 2011. – С. 92–103.

15. Мусатов, В. В. Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины XX века / В. В. Мусатов. – Москва: Азбуковник, 2016. – 720 с.

16. Пушкин, А. С. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 2. Стихотворения. 1823–1836 / А. С. Пушкин. – Москва: Гослитиздат, 1959. – 799 с.

17. Рогачева, Н. А. Владимир Маяковский в художественном мире Михаила Зенкевича / Н. А. Рогачева // Во власти культуры и текста: Сборник научных трудов к юбилею доктора филологических наук, профессора Галины Петровны Козубовской. – Барнаул: АлтГПУ, 2021. – С. 356–367.

18. Стенник, Ю. В. Пушкин и советская поэзия (40–60-е годы) / Ю. В. Стенник // Русская советская поэзия. Традиции и новаторство (1946–1975). – Ленинград: Наука, 1978. – С. 90–119.

19. Тырышкина, Е. В. Эстетика адамизма: лирика М. Зенкевича 1910-х годов / Е. В. Тырышкина, П. А. Чеснялис // Идеи и идеалы. – 2017. – № 3 (33). – Т. 2. – С. 117–131.

20. Тюпа, В. И. Дискурс / Жанр / В. И. Тюпа. – Москва: Intrada, 2013. – 211 с.

21. Gasparov, B. The “Golden Age” and Its Role in the Cultural Mythology of Russian Modernism / B. Gasparov // Cultural Mythologies of Russian Modernism: From the Golden Age to the Silver Age. – Berkeley: University of California Press, 1992. – Pp. 1–18.

22. Paperno, I. Пушкин в жизни человека Серебряного века / I. Paperno // Cultural Mythologies of Russian Modernism: From the Golden Age to the Silver Age. – Berkeley: University of California Press, 1992. – Pp. 19–51.

REFERENCES

1. Ahmatova, A. A. Sobranie sochinenij: v 6 t. T. 1. Stihotvorenija. 1904–1941 / A.A. Ahmatova. – Moskva: Jellis Lak, 1998. – 968 s.

2. Alekseeva, N. Ju. Russkaja oda: Razvitie odicheskoj formy v XVII–XVIII vekah / N.Ju. Alekseeva. – Sankt-Peterburg: Nauka, 2005. – 369 s.

3. Antokol'skij, P. G. Stihotvorenija i pojemy / P.G. Antokol'skij. – Leningrad: Sovetskij pisatel', 1982. – 283 s.

4. Bagrickij, Je. G. Stihotvorenija i pojemy / Je.G. Bagrickij. – Sankt-Peterburg: Akademicheskij proekt, 2000. – 304 s.

5. Dostoevskij, F. M. Polnoe sobranie sochinenij: v 30 t. T. 26 / F.M. Dostoevskij. – Leningrad: Nauka, 1984. – 519 s.

6. Evzlin, M. S. Kosmogonija i ritual / M.S. Evzlin. – Moskva: Radiks, 1993. – 344 s.

7. Ibatullina, G. M. Misterial'nye miry v russkoj literature XIX–XX vekov / G.M. Ibatullina. – Moskva: Direkt-Media, 2020. – 98 s.

8. Kihnej, L. G. Specifika «ramochnogo teksta» v knigah M.A. Zenkevicha «Dikaja porfira» i «Pod mjasnoj bagrjanicej» / L.G. Kihnej, A.V. Lamzina // Filologicheskij klass. – 2021. – T. 26. – № 3. – S. 112–124.

9. Kirlo, H. Slovar' simvolov. 1000 statej o vazhnejshih ponjatijah religii, literatury, arhitektury, istorii / H. Kirlo. – Moskva: Centrpoligraf, 2010. – 525 s.

10. Kuper, Dzh. Jenciklopedija simvolov / Dzh. Kuper. – Moskva: «Zolotoj vek», 1995. – 402 s.

11. Magomedova, D. M. Oda / D.M. Magomedova // Teorija literaturnyh zhanrov / Pod. red. N. D. Tamarchenko. – Moskva: «Akademija», 2011. – S. 92–103.

12. Musatov, V. V. Pushkinskaja tradicija v russkoj pojezii pervoj poloviny XX veka / V.V. Musatov. – Moskva: Azbukovnik, 2016. – 720 s.

13. Pushkin, A. S. Sobranie sochinenij: v 10 t. T. 2. Stihotvorenija. 1823–1836 / A.S. Pushkin. – Moskva: Goslitizdat, 1959. – 799 s.

14. Rogacheva, N. A. Vladimir Majakovskij v hudozhestvennom mire Mihaila Zenkevicha / N.A. Rogacheva // Vo vlasti kul'tury i tek sta: Sbornik nauchnyh trudov k jubileju doktora filologicheskih nauk, professora Galiny Petrovny Kozubovskoj. – Barnaul: AltGPU, 2021. – S. 356–367.

15. Stennik, Ju. V. Pushkin i sovetskaja pojezija (40–60-e gody) / Ju.V. Stennik // Russkaja sovetskaja pojezija. Tradicii i novatorstvo (1946–1975). – Leningrad: Nauka, 1978. – S. 90–119.

16. Tyryshkina, E. V. Jestetika adamizma: lirika M. Zenkevicha 1910-h

godov / E.V. Tyryshkina, P.A. Chesnjalis // Idei i idealy. – 2017. – № 3 (33). – T. 2. – S. 117–131.

17. Tjupa, V. I. Diskurs / Zhanr / V.I. Tjupa. – Moskva: Intrada, 2013. – 211 s.

18. Verina, U. Ju. Dujel' i smert' Pushkina v russkoj pojezii XX v. / U.Ju. Verina // Filologicheskij klass. – 2016. – № 4 (46). – S. 12–20.

19. Zenkevich, M. A. Skazochnaja jera: Stihotvorenija. Povest'. Belletristicheskie memuary / M.A. Zenkevich. – Moskva: Shkola-press, 1994. – 688 s.

20. Zvereva, T. V. Vzaimodejstvie slova i prostranstva v russkoj literature vtoroj poloviny XVIII veka / T.V. Zvereva. – Izhevsk: UdGU, 2007. – 328 s.

21. Gasparov, B. The "Golden Age" and Its Role in the Cultural Mythology of Russian Modernism / B. Gasparov // Cultural Mythologies of Russian Modernism: From the Golden Age to the Silver Age. – Berkeley: University of California Press, 1992. – Pp. 1–18.

22. Paperno, I. Пушкин в жизни человека Серебряного века / I. Paperno // Cultural Mythologies of Russian Modernism: From the Golden Age to the Silver Age. – Berkeley: University of California Press, 1992. – Pp. 19–51.